

Советское прошлое: от какого наследства мы отказываемся?

Отношение к советскому прошлому в настоящее время, как правило, негативное. Советский период представляется выпадением из некоей традиции, лакуной в культуре. «Я воспринимаю то, что произошло с этой страной в результате Октябрьской революции 17 года как выход из времени, из истории и из жизни ...»¹ – говорил М.К. Мамардашвили 1990 году на французском радио. В такой оценке философ не одинок, и утверждение, что в СССР до Перестройки ничего кроме КГБ не было (даже моды) стало общим местом современного масскульта.

И потому сохранение в актуальной культуре огромного пласта созданных в советский период произведений, прежде всего кинематографа и музыки (эстрадной песни), требует какого-то оправдания. Но так как их художественная ценность по-прежнему определяется вне-эстетическими критериями, вызывающие «народную любовь» фильмы характеризуются как антисоветские. Антисоветски «Веселые ребята» Александрова (мюзикл!), «Бриллиантовая рука» Гайдая, «Калина красная» Шукшина, «Летят журавли» Калатозова и многое, многое другое. Актеры и певцы, состоявшие в советские времена, в журналистской и, зачастую, собственной подаче, предстают если не антисоветчиками, то уж точно «несоветскими» и обязательно гонимыми коммунистической властью. Но в таком стремлении примирить советское наследие и современность теряется само понятие советскости, становясь расплывчатым, парадоксальным и неопределимым. Очевидно, что в этой интерпретации советское не совпадает с официальной культурой породившего его периода, но, скорее, идеологией, партийной линией, режимом. Полностью отождествить идеологические проекты и ценностно – смысловое переживание мира, характерное для советских людей, не возможно, но определять их как диаметрально противоположности – советское и антисоветское, так же не продуктивно. Ведь даже невнимательный взгляд ухватывает в разнообразных проявлениях такого «антисоветского» некую «печать эпохи», инаковость по отношению к современной образности и смыслам, а наблюдательный – выявляет глубинное, внутреннее единство, выросшее из общей для них ценностной системы. Учитывая это, было бы правильным рассматривать советское как «специфический культурно-региональный и исторически-конкретный феномен»², однако при таком подходе теряется идеологическая окрашенность исследования. Приходится признать наличие советского типа культуры с характерной для него системой ценностей, коммуникации, логикой развития и т.д., а это, в свою очередь, провоцирует признание самоценности уникального культурного опыта. Понимание этого, лежащее в основе этнографического подхода, заставляет цивилизованного человека чувствовать, что человечество станет беднее, если

исчезнет культура маленького племени, обитающего в джунглях Амазонии. Но советское наследие, подобно родимым пятнам буржуазии, должно быть искоренено и преодолено. В случае с советской культурой сохранить академический интерес к проблеме оказывается непросто. Сказывается и отсутствие необходимой временной дистанции, отстраненности, и стремление обосновать легитимность настоящей политической и культурной ситуации. Писать о советском искусстве академически спокойно, как это делает, например, К. Кларк, применяя термин «Высокий сталинизм», у большинства отечественных исследователей еще не получается.

Но лишь такой подход позволяет избежать обеих крайностей в трактовке советской культуры, проявляющихся в обличительном запале. «В советском дискурсе сосуществуют тенденции к монолитности и однородности с гетерогенностью и эклектичностью.»³ Абсолютизация монолитности, зафиксированная в концепте тоталитарности, приводит к упрощению и искажению исторической ситуации. Происходит неоправданная аберрация зрения, когда еще не скрывшаяся из виду реальность приобретает черты умопостигаемой далекой эпохи. Поколение «перестройки» уверенно оперирует почерпнутыми из учебников знаниями о «людях-винтиках», «одинаковых серых зданиях», «тотальном терроре», «всеобщем страхе», «некритичном мышлении» и т.д., не соотнося их с образом своих родителей, бабушек и дедушек, сталинской архитектурой, среди которой им все еще приходится жить, мультфильмами, увиденными в детстве, черно-белыми фотографиями в семейных альбомах. Другая крайность – отрицание смыслового единства советской культуры, абсолютизация ее гетерогенности. Так феномен диссидентства обычно трактуется как контр-культура, но даже он, при внимательном изучении, выдает свою глубинную советскость. «Мы снова сталкиваемся с великой иронией советской культуры, когда «диссидентская» и «ортодоксальная» традиции не противостоят друг другу, но находятся в диалектических противоречиях внутри одной системы, многое заимствуя друг у друга. Более того, ценности высокого сталинизма похожи на воззрения ведущих диссидентов во время относительно либеральных в отношении культуры периодов, что обрамляют годы сталинщины...»⁴ П. Вайль и А. Генис также отмечают единство дискурса эмигрировавших из страны диссидентов и отвергнутой ими идеологии.

Ключом к культуре является система ценностей, смысловое ядро, «великие мифы», образующие ее фундамент. Но важно помнить, что смыслопорождение не происходит линейно, буквальное прочтение текста культуры не приближает к ее пониманию. Для носителя культуры ее ценностные установки интимизируются и образуют экзистенциальные смыслы, не считываемые взглядом внешнего наблюдателя. В связи с этим становится понятно, почему разрушение советской политической системы происходило на основе ее критики с позиций именно советской системы ценностей, но результатом стало не появление чего-то, более соответствующего этим ценностям, а отмена их самих. Новой эпохе – новое основание.

Советская культура на всех этапах своего существования была логоцентрична. Выросшая как модернистский проект и усвоившая

просвещенческие ценности прогресса и разума, она нуждалась в словах, наделяя их в идеологической практике архаичной магической силой. Даже когда в 70-х – начале 80-х гг. в официальной фразеологии слышалась лишь раздражающая фальшь, она не отменяла ценности подлинного, истинного слова. Призыв «жить не по лжи» соответствовал стремлению преодолеть губительный разрыв слова и жизни. И потому даже в официальном искусстве этого периода одной из главных тем явилось мучительное несоответствие жизни должному, слова значению, внешнего внутреннему. Такой социально-психологический конфликт, невозможен в современном российском искусстве, не потому, что в современной России не лгут, а потому, что слово утратило свой сакральный статус, обособилось от жизни, стало означающим без означаемого.

Советский логоцентризм связан с еще одной важной особенностью – приоритетом «внутреннего» слова над «внешним». Это утверждение может показаться очень спорным и опровергаемым существовавшей практикой с бесконечными речами на партсобраниях и съездах, политагитациями, лозунгами, всем, оформленным посредством слова, партийным ритуалом. Но представляется, что важнейшей задачей явилось все же не произнесение слов, а перевод их во внутреннюю речь, интериоризация, порождающая главное качество советского человека – сознательность. Такое желаемое совпадение объективного и субъективного и есть основное условие тоталитаризма. Но парадоксальность советской культуры состоит в том, что эта стратегия не привела к полному обезличиванию индивида. Сковывая внешнюю активность человека, табуируя сексуальность, она убеждала его в приоритете внутреннего мира⁵. Плохой человек в советском кино – это не только классово чуждый элемент, начиная с 60-х годов все чаще обличались неискренность, ложь, отсутствие глубокого внутреннего содержания и нравственной требовательности. Внутренняя глубина человека не исчерпывалась успешно усвоенной идеологией.

Из просвещенческой установки на прогресс и разумность органично вытекало понуждение к культурности. В результате ускоренной модернизации и демократизации большое количество людей, выросших в лоне традиционной крестьянской среды, должно было найти новую идентичность. И окультуривание явилось тем средством, которое позволяло стать новым, советским человеком. Но в этом случае оно означало не только умение контролировать свое тело и темперамент, не только овладение грамотной речью и идеологической фразеологией, но и большую субъективность. Таким образом культурность стала и способом продвижения по социальной лестнице, и необходимым условием обретения идентичности. Безусловно, самоидентификация осуществлялась через встраивание в некую общность – партию, класс, советский народ, который, в конечном счете, репрезентирует человечество как таковое. Это отразилось в современном саркастическом образе «эволюции по-советски» – от обезьяны до пионера (комсомольца, коммуниста), акцентирующем внимание на самодовольстве и ограниченности homo soveticus, представляющего себя в качестве венца эволюции. Но отношение к прошлому в советской культуре двояко. Отказ от прошлого, стремление начать историю с чистого листа, разрушив старый мир до основания, обычен для революционно обновленных

эпох. Ничего уникального в советском пренебрежительном отрицании «буржуазного прошлого» нет, и в этом смысле презираемый «буржуй» ничем не отличается от «совка». Но вместе с тем, это и законное наследование, встраивание в вертикаль истории через приобщение к культурному опыту. Конечно, такая «законность» позволяла распоряжаться наследством по собственному усмотрению. Но даже при всей тенденцезности советского искусствознания и купированности самого художественного наследия, искусство дало чуть ли не единственную возможность прикоснуться к чужому пространству. Освоение внешнего пространства для большинства советских людей могло быть осуществлено лишь посредством пространства внутреннего – если нельзя расширить первое, можно попробовать расширить второе и, читая Диккенса, разглядеть Англию, которую никогда не увидишь воочию. Такой метод освоения мира сознательно использует Г.Д. Гачев, конструируя образы национальных культур на основе анализа порожденных ими текстов. Но и в неотрефлексированной форме этот способ знакомства с миром был востребован, что стало еще одним аргументом в пользу ценности слова. Просветительство не ограничивалось приобщением только лишь к письменной культуре. При отсутствии «глянца» советские журналы «эпохи застоя» охотно помещали на своих страницах репродукции известных картин, даже такие, казалось бы далекие от проблем искусствознания, журналы как «Работница», «Крестьянка», «Семья и школа» обзаводились постоянными рубриками, знакомящими читателя с шедеврами мировой живописи. Однако ведущая роль оставалась все же за словом.

Искусство помогало освоиться не только в пространстве, но и во времени. Эта же задача возлагалась и на науку. Внеисторичность, или даже антиисторичность советского чувства времени, характерная скорее для мифа, сопрягается с просветительской идеей прогресса. Необходимость осмыслить свое место во времени в конечном итоге привела к тому, что гордость за исключительную роль своей эпохи соединилась с любопытством к прошлому и будущему. И если прошлое – это история и ее загадки (но пока еще не «белые пятна»), то будущее – наука и техника. История ценна не столько приращением опыта, сколько возможностью при помощи науки раскрыть все ее тайны. Отсюда и собственно научный интерес к палеонтологии и археологии, и смычка естественных и технических наук и истории, отразившаяся, например, в популярном журнале «Техника – молодежи», где существовала рубрика, посвященная загадкам прошлого. Научное знание оказывается способом приобщения к историческому процессу, а значит владение им самоценно, ведь это дает возможность не просто сделать карьеру, а наиболее полно заявить себя как человека.

Советская система позволила «простому» человеку ощутить себя носителем культуры и пережить это как ценность и личное достижение, что не могло не спровоцировать развитие индивидуальности и тот тип духовности, который открывается в советских людях, внимательному и непредвзятому взгляду.

¹ М. К. Мамардашвили. Мысль под запретом (Беседы с А. Эпельбуэн) // Вопросы философии, 1992, №4, С. 71

² Круглова Т. А. Советская художественность или нескромное обаяние соцреализма. – Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного ун-та, 2005. – С.12

³ Там же, С.20

⁴ Кларк К. Советский роман: история как ритуал / Пер. с англ.; Под ред. М. А. Литовской. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. – С.188.

⁵ понятие «внутренний мир» соответствует советской терминологии, предпочитавшей его религиозно окрашенному «духовному».